**Всероссийская олимпиада школьников по литературе**
**Муниципальный этап 2019**
**11 класс**

Право выбора текста для комплексного анализа предоставлено **участникам олимпиады**

## ЗАДАНИЕ 1.

### Вариант 1. Комплексный анализ художественного текста

*Выполните целостный анализ рассказа* **Н. Конова «Аметисты»,** *приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: художественное произведение в культурно – историческом контексте, средства выразительности в изображении основных художественных образов, особенности повествования.*

*Ваша интерпретация текста не должна исчерпываться предложенными рекомендациями, которые обозначают основные аспекты анализа произведения в единстве его формы и содержания.*

*Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст*

**Николай Кононов.**
***Аметисты***

Эта история выстроилась сама собою без моего участия в какую-то комическую очевидность с макабрическим оттенком, и, чтоб от нее избавиться, — ее стоит записать. Итак, путь, дорога, поезд, конечно. Плацкартный поздний вагон. Я тогда еще не жил в одном из самых прекрасных и безразличных городов в мире, но был, как говорится, — на подступах. Мне светил лучший свет той поры — в виде трех лет аспирантуры университета. Кстати, учреждение сие оказалось более чем демократичным в самом хорошем смысле. Но речь не об этом. Я был простужен, что и немудрено при питерской сырости, — говорил хриплым дурным голосом, совсем не соответствующим моей внешности. Поезд, невзирая на то что был дополнительным, оказался набит под завязку, и мне досталось боковое верхнее место у самого туалета. Но всего-то девять часов ночного стремительного пути — чего переживать? Пока то да се — билеты, постельное белье, чай (весьма нужный при моем простуженном горле) — дама, моя “соседка” по столику, разговорилась со мной. Она была в высшей степени элегантной дамой, одетой по-дорожному строго, но женственно, с небольшим багажом: как выяснилось, она — к сестре в Москву. А я? Дальше на юг. На море? Нет? В степи. А… ей стало неинтересно. А какой я раз в Ленинграде? Такой-то… Ну, совсем немного вы бывали в поразительном городе, но… Фраза за фразой она вытянула из меня всю мою хриплую биографию провинциала и вообще культурного неофита.

Она говорила крайне аккуратно, словно отделяла гласные от согласных пергаментной бумажкой, будто помнила о старинной рецептуре приготовления

Задание 1 Вариант II

Иосиф Бродский
«Одиночество»

Стихотворение «Одиночество» Иосифа Бродского, написанное в середине XX века, занимает немаловажное место в творчестве писателя. Стихотворение, написанное после длительной кровопролитной войны, по обыкновению должно быть пропитано радостью и слезами победы или же описывать всю ту боль, что перенесли люди во время войны. Автор же того произведения поднимает извечную философскую проблему, проблему отношений человека с обществом и в целом с окружающей действительностью. Автор показывает нам, что каждый в тот или иной момент может сомневаться в каких-либо постулатах человечества, идеях, гипотезах, восприятиях произведения искусства. Но тут же отмечает, что «лучше поклоняться дважды», с её недостатками, страхостями и истинами. Автор показывает, что лирический герой данного произведения находится в полном одиночестве. И в том одиночестве он пытается что-то поменять.

С самого рождения нам прививают незыблемость и абсолютную правоту некоторых основных идей человечества. С возрастом у каждого появляются свои взгляды и многих начинают терзать сомнения, а так ли то, и так ли это. Автор же отмечает, как упоминалось ранее, что «лучше поклоняться дважды», принимать жизнь такой, какая она есть, жить в настоящий момент. Постоянные сомнения станут только катализаторами страданий в одиночестве. Настоящее с его «убогими мерилами» и видом, не оставляет никаких положительных эмоций на данный момент, но когда-то, через время это убогое настоящее →

давно забытых блюд. Еще она не зажевывала окончания — и ее русский язык приобретал какую-то невычурную основательность, будто фразы были фарфоровыми фигурками ЛФЗ с золотым ободком по широкому низу — чтобы, скользко блеснув, не опрокинуться.

Она представилась А. Б., именовала меня "молодой человек В.", будто это мой титул, вроде вожделенного "кандидат наук", оказалась сотрудницей какого-то высококультурного учреждения, видимо, решила мне сделать приятное — спросила, бывал ли я в этот свой приезд в Царском Селе? Заметив, что терпеть не может его новое имя Пушкин, словно лакейская фамилия: "Ты чей?" — "Да Пушкина мы". Какая безвкусица. Был? О, как хорошо. А что мне больше по душе — галерея Чарльза Камерона или Расстреллиевский дворец? Я ответил. О, да у вас, "молодой человек В.", есть вкус. Это бывает и без глубокого знакомства с эстетикой, как результат искреннего чувства и желания. Я промолчал — это было лучше в моем хлипком положении.

За окном пропадала белая ночь — ельники, березняки в сырой мягкости, будто бы зарю размыли в большом объеме воды.

Она решила говорить сама. И стала рассказывать о статуях в парке Царскосельского дворца. Одна особо ей нравилась, — летом раз в неделю она старается ее навестить.

За окном был апофеоз серо-лилового тона — будто раскрутили огромную штуку простонародной мануфактуры — как в сумасшедшем магазине Бруно Шульца. Но я не стал говорить это А. Б. Я сказал изысканно — "Аметисты". Боже мой! Лучше бы я сказал про штуку материи. Дама выпрямилась, глаза ее, кажется, увлажнились, она продавила сквозь себя крупный нервный глоток. "О, не говорите при мне это слово. Я их обожаю. Их воспели лучшие русские поэты. Анненский Иннокентий Федорович и Заболоцкий Николай Алексеевич". Отрекомендовав лучших русских поэтов таким паспортистски-дотошным способом, она прибавила — "скончались в 1909 и 1958 годах, в Санкт-Петербурге и Москве соответственно". "Вы знаете эти чудесные строки?" Мне оставалось покачать головой. Лучше, чем качать, — кивать, понял быстро я. Уже через минуту в моей немеющей гортани стояло: "Не спорь, не спорь, не спорь…".

"Как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов…" И еще — "И будет то не наша связь, а непорочное слиянье!" Слышите — непорочное! — Она смотрела на меня так, будто оно должно было быть между нами.
Она читает стихи — отвратительно стуча указательным пальцем, чиркая длинным ногтем пластик откидного столика!

Было ли это похоже на мультфильм? Нисколько, потому что абсурд пробивался совсем через другие щели, не имеющие отношения к зримому мной. Вычурный правильностью язык, доведенный до акцента. Она им щелкала буквы. Дробь пальца о столик не в такт вагонному стуку, ничего общего не имеющего с жалобой стансов. Она была наблюдатель и блюститель каких-то, неясных мне пока

и воспоминания о нём могут стать теми самыми положительными эмоциями. Настоящая радость жизни познается поздно, лишь когда исчезает и становится мнимым воспоминанием. Человек считает свою жизнь скучной, безрадостной и полной запретов, постоянно возмущается по этому поводу, и только в старости он поймет, что эти моменты недовольства были пустыми и глупыми. Всю жизнь, а точнее жизненный путь, И. Бродский называет „лестницей". Пока люди молоды и полны сил, они могут, идя по лестнице не пользоваться перилами, но в конце пути они будут в них нуждаться как ни в чем другом. Вот, что пытается донести автор, на мой взгляд.

Речь автора при написании данного стихотворения разнообразна. Лексическое богатство автора в большом количестве образных средств: сравнения (жизненный путь - „выщербленная лестница", все „убогие мерила данности" - перила лестницы); метафор (дороги покажутся большими крыльями и птицами"); эпитетов (хромающие", „выщербленной", „убогие").

Стихотворение „Одиночество" достаточно полно раскрывает философскую мысль о конфликте и противоречиях человека и окружающего мира, проблему, которая актуальна и в современных реалиях, где каждый человек в какой-либо момент чувствует себя одиноким, ни для кого незаметным и ненужным. Произведение пропитано глубоким смыслом, в нем содержится своеобразный призыв к тому, чтобы человек ценил все, что есть у него в данный момент, ведь когда-то этого может и не стать.

интересов. “Я сына насилу научила — все тренировки. Как жаль, что вы с голоса не запомните”, — будто она читала что-то такое, что знала только она. Ночь и спящие вокруг пассажиры, затянутые простынями, как в морге, — не мешали ей отчетливо скандировать шепотом. На ее лице было написано, что через несколько тактов будет запятая или знак вопроса. Только ночная вагонная муха, совершающая путешествие, нагло мешала ей — ползала по столу, садилась на стекло с аметистовыми сумерками, ползала бессмысленно и одновременно деловито. Но перерыва в ее речи не было, куда я мог бы поместить метафизический диэлектрик. Мы даже вышли вместе покурить в тамбур. Ее “Шипка” без фильтра — нахлынула на меня духом безжалостного сражения между сарацинами и гяурами.

И если бы не несколько сюжетных и временных петель этой истории — пересказывать ее не стоило бы вовсе. Такая скоропись безумия в дополнительном поезде “Ленинград — Москва”.

Моя память чудовищность переворачивает в жалкость, и непонятно — что же лучше и вернее. Как это возможно. Разве там действуют замены?

В тамбуре, может быть, оттого что предстала передо мной в полный статный рост, она заговорила о бессмертном Кировском балете, который блюдет заветы. Она процитировала Пушкина “и легкой ножкой ножку бьет”. И когда вагон качнуло — она попятилась в угол к стоп-крану какой-то серией па, — не столь легко, как корифейка, но не хуже фигурантки *миманса.* Она бодро отрецензировала новую постановку, — не вспомню какую, только фразу “Гоголю Николаю Васильевичу в балете делать нечего”. И прибавила: “великий писатель, сотканный из противоречий”.

В этом общении моя речь была совершенно не нужна, я даже перестал кивать. Я больше ее разглядывал. Одета она была, что называется, в ленинградском стиле — в цвет. Скромные оттенки ночного — серого, блузка такая же с настойчивой искрой. Босоножки на танкетке. Ну, брошь, конечно. Прическа, что называется, “укладка” — крепкого керамического рода, будто выпеченная в муфеле — волос к волоску. Это была самая неколебимая часть ее тела — если бы она упала во время крушения нашего поезда, то восстала бы причесанной в неповрежденной куаферной композиции. Я потом встречал такой стиль — так причесывают в моргах, если не повязывают платка.

Она заговорила о своем сыне в тамбуре…

“Я ему подсовывала научные вырезки из прессы. Он интровертный, некоммуникабельный”.

Кстати, в связи с сыном, она изложила мне свою последнюю волю: кремировать тело; в специальной записке — как одеть, прах развеять в любимых местах — у Мариинского и Камероновой галереи в Царском, в Екатерининском саду, у Публичной библиотеки, у дома, — дальше я не запомнил, но могу

поклясться, это был список на два дня, — точки отстояли друг от друга на весьма приличном расстоянии.

Конечно, она говорила и о блокаде, пришедшейся на ее детство. Она не меняла интонации и сказала, что людей, особенно соседей, "безусловно ели". Повсеместно. И что без этого "было абсолютно нельзя".

Все-таки я был вынужден заключить, что она была отменно здорова, — ничего бредового в ее речах не было, — общие места бредом не бывают, они просто возникают на руинах жизни. И я через какое-то время представил себе не просто распорядок ее дня — а расклад всего скорбного годичного цикла. С летней съемной комнаткой в Павловске — поближе к парку, с мартовским загаром у равелина Петропавловки, попытки моржевания, но врач по ногам отсоветовал, абонементы в Малый и Большой залы Филармонии, премьеры Мариинки, потрясающая "Жизель", кажется, она смотрела ее уже более ста раз — можно проверить по программкам, посильная служба недалеко от дома (не сказала, какая).

И самое пугающее для меня — всегда, во всех ее речевых оборотах, неотлучно присутствовала тень ее сына. Я даже пожалел, что проворонил его на перроне. "Вам будет о чем поговорить с Ярополком". Хотя я все время молчал и, кажется, уже лишился от потока ее артикулированных сентенций последнего дара речи и голоса.

Надо все-таки сказать, что она усердно потчевала меня — чай из китайского термоса с попугаем, сама принесла стаканы: "Ну, разве в поезде способны хоть что-нибудь заварить? Хорошо, кипяток есть, но разве это "белый кремль"?" — усмехнулась она. Аметистовая ночь густела, видно было, что мы еще не скоро угомонимся, вернее, она.

Пассажирка на ближней к нам полке, легшая головой к проходу, видно, из-за сквозняка, все никак не могла угомониться. Она приподымала голову, крутилась тучной юлой, путалась в простыне, наконец, не выдержала и сказала моей собеседнице (интересно, можно ли сказать "собеседница", если собеседник молчит?): "Может быть, можно как-то успокоиться до утра? Вы мешаете спать пассажирам".

То, что воспоследовало через мгновение, и по сей час стоит в моей памяти. А. Б. со всего маха хлопнула ладонью по подушке недовольной буквально в десяти сантиметрах от заговорившего лица: "А ну-ка, заткнитесь. Надо же, тварь какая!" От этого угрожающего шипения по вагону расползлась такая тишина, что ее, тишину, стало слышно и видно. Я почуял стойкий дух дезинфекции, идущий из ближнего туалета. В тамбуре зловеще лязгнули сегменты перехода. А. Б. сказала на вдохе: "Может, вам, тварь, и вагон отцепить?".

Грубая брань вместе с обращением "вы" действовала зловеще. Так, наверное, казнили в страшные годы.

Испуганная тетка уже сидела, вжавшись в угол, закрывшись до самого носа простыней. А. Б. поправила ореол прически характерным жестом — как невидимый боевой шлем. Больше она в ее сторону не смотрела.

Так что я услышал еще раз и великую лирическую тему Анненского И. Ф. и Заболоцкого Н. А. Небо приподнималось над циклопическими разливами мелкого зеркала воды. Мы даже легли вздремнуть друг под другом на узких полках.

Мы доехали. А.Б. встречала сестра, они мгновенно стали что-то давнее незримое делить, вырывая друг у друга сумку.

На этом все и кончилось бы навсегда, если бы я не увидел Ярополка. Об этом стоит сказать.

Глубокой осенью, когда дни, точнее, присвоенные им календарные числа отличаются репертуаром театров, — мы с женой и одним моим старым другом, приехавшим очень издалека, отправились в балет. Это была, конечно, "Жизель-жизель-жизель", которую нигде в мире, кроме как в Санкт-Петербурге, не увидеть. Признаюсь, что к действию с вилиссами мы уже прилично приняли, и во внутреннем кармане моего пиджака грелась прекрасная плоская фляжка с не менее прекрасным коньяком, кстати, армянским, потому что во всем мире, кроме Российской Федерации, его тоже не попробовать. Друг мой нестал кировал, поэтому мы купили дорогущие билеты в партер. Плясала какая-то примы, которая исполняет Жизелей крайне редко, поэтому к подъезду мы пробирались через толпу маньяков, где каждый знал всех, а все — его. Это была такая гоголь-достоевская толпа. Согласно первому, — смешная, второму — страшная. Дешевый парфюм только еще сильнее подчеркивал пародонтозный дух. Смесь, конечно, особенная. Был аншлаг. Очередь к администратору была угрюмой. При входе в партер проверяли билеты еще раз, и при входе задавали простые вопросы, чтобы вычислить иностранцев, обязанных покупать дорогие особые билеты, в отличие от аборигенов. Чтобы я не нахамил на вопрос, типа "а здравствуйте?", она держала меня за руку.

Одним словом, весь первый акт рядом с нами зияли два пустых места. В антракте мы в буфете выпили еще, поглазели на фланеров, которые ходили по фойе, как в полонезе, но без музыки и танцев, а просто пешком. Какая-то чурная тетка в самодельном душераздирающем длинном платье пятилась, галантно отступала в сторону и милостиво улыбалась проходящим мимо. Ей старались не видеть. Ну и все такое. Когда мы уселись — над соседними пустыми стульями уже клубились дежурные. Мы сидели в середине ряда, и до пустых кресел можно было добраться справа и слева. Я услышал шипение, в котором был полный спектр чувств:

"Ярополк, — кто-то говорил сжатыми губами, не размыкая зубов, — Ярополк, занимай, занимай, занимай, дурак. Какой ты дурак! Сейчас займет".

И действительно, мимо нас, давя ноги и ломая колени, пробрался и упал в кресло какой-то унылый дядька. Псих не псих. Вроде как рядовой. У него

чудовищный галстук-ацетат синевато-серого цвета. По моде моей юности. Цвета аметиста.

Его вид стоит описать. Он сидел как вкопанный, положив на соседнее кресло руку с программкой, бессмысленно уставившись вперед, будто перед ним на турели был укреплен незримый прибор ночного видения. Его прямая посадка была безукоризненна — вертикаль. Так высаживают мальчиков за пианино, как тепличную рассаду, нет, понял, как точнее — так прорастает белой прямой немочью зимний картофель в подполье. От замыленного запаха пустого клубня мне будет еще долго не отделаться.

Он так и просидел все заключительное действие — как куст картофельной ботвы, будто вилиссы проходили сквозь него, как иллюзионисты сквозь ширму. Он давал миллион поводов сказать так, т. к. почему-то требовалась точность в наречении. Я даже не мог никак сообразить, — что же произошло со мной — выпил я с другом совсем немного. Вот и сейчас по наперстку отхлебнули, и я сдержал себя, чтобы не протянуть фляжку своему соседу. Сильно сказать, наверное: Ботва, хряпнешь? Чтобы люстра не обвалилась. Рядом с ним уже кто-то завозился. Он, не меняя позы, говорил:

“Да, мама, мама, нет. Шумгина — корифейка, повелительница вилисс — Ситникова-мл. Анну Владимировну с третьего яруса не видел”.

На него обрушилось шипение, будто отворили вентиль в кубовом закутке:

“Что ты мне лжешь? Ты, как всегда, лжешь. Какой цинизм… Я видела Анну Владимировну, она вышла из отгула. Я ее видела, как тебя. Как ты не мог видеть Анну Владимировну? Ты, как обычно, лжешь мне”.

“Да, мама”.

“Какая низость все-таки”.

Она немного успокоилась, и отчетливый шепот образовывал плотную вату, которая впитывала в себя всю ничтожную людскую влагу, — все понимали, что важнее и искреннее этой эмоции ничего быть не может. Но вот зазвучали синие заупокойные такты. Вилиссы топали, так как имели живой вес. Когда из-за кулис вышла в обмороке Жизель, — они оба, будто репетировали, сказали в себя “Ах!” без “ха”. Но ахать можно и без “ха”. Балерина была ничего себе, и какой-то дервишский наркотик просыпала вокруг своей вращающейся бледной фигуры.

Мои соседи переживали настоящий, совершенно не утрированный экстаз. Он ломал руки, вцепившись в подлокотники — древесина должна была стойко хрустеть. Я словно чувствовал его напряжение, будто это он — “канал” умученных Жизелей”. Смотреть на него, даже искоса, было страшно, словно в нем было что-то люциферическое, и я почуял вес атмосферного столба, ложащегося мне на плечи. Я уже не смотрел “Жизель” — я смотрел на эту пару, переживающую посмертную ерунду так, что, казалось, в этой самоотдаче они теряют связь с жизнью, здоровьем, свежим воздухом, чтобы одинаково пережить эту дурацкую условность.

Плохая музыка ныла. Дирижер явно подстраивал ритмы под шаг танцующих. “И ла-ла-ла, раз-два-три… ла-ла”.

“Смушкина… о, как сегодня Смушкина. Я просто не могу”.

“Да, мама, Смушкина”.

В общем, ничего-то особенного. Мать и сын любят балет до безумия. Да пожалуйста, любите. Но зрелище они порождали нечеловеческое, да что зрелище — пахло бедным домом. Ведь бывает, что опрятностью и чистотой пахнет, и этот запах ничем не забить — ни едким одеколоном, ни конфеткой “Барбарис”, болтающейся во рту…

Хлопали они неистово, высоко воздевая руки — перед самым лицом. Выскочили так же неистово, как и пробрались на чужие места, толкнув нас, как мебель. На мое “знаете ли…” она чем-то облила меня: “Не в театр надо ходить, а в баню пиво пить”. И я протрезвел от этой фразы.

Я еще раз встретил как-то их — там, где Мойка скрещивается под острым углом с Пряжкой, — самые безумные места — Блок, психушка, аптека, заводы. Они шли, держась за руки (я вспомнил мать Блока и самого А. А., примерно туда, куда могли идти они, и она печалилась о Любе и много о чем. Мне было не смешно. Старая жесткая мегера держала за руку своего загубленного сына-перестарка, не написавшего, судя по всему, ни строчки, но загубленного по такому же гениальному плану, с таким же ошеломительным властным маразмом. И я еще подумал, что это — необходимо. Без объяснений — просто необходимо, оттого что непорочно, как блеск аметистов.

11-10

**Вариант 2. Целостный анализ лирического стихотворения**

*Выполните целостный анализ стихотворения И. Бродского «Одиночество», приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: философский смысл, лексическое богатство, особенность поэтической манеры.*

*Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст.*

**И. Бродский.**

***Одиночество***

Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из-под ног, как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, –
ты можешь рассуждать о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства –
и даже самого зачатия
Мадонной Сына Иисуса.
Но лучше поклоняться данности
с её глубокими могилами,
которые потом, за давностью,
покажутся такими милыми.
Да, лучше поклоняться данности
с короткими её дорогами
которые потом до странности
покажутся тебе широкими.
Покажутся большими, пыльными,
усеянными компромиссами,
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами.
Да. Лучше поклонятся данности
с убогими её мерилами,
которые потом, по крайности,
послужат для тебя перилами,
хотя и не особо чистыми,
удерживающими в равновесии
твои хромающие истины
на этой выщербленной лестнице.

## 2.ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

11-10

Прочитайте стихотворение Ю. Левитанского. Как вы заметитили,
«… женщина тут, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке. В ней-то все и дело.»
Портрет женщины в стихотворении не дан. Предлагаем вам создать подробный словесный портрет женщины в момент, выделенный в тексте курсивом. Портрет, созданный вами, должен рассказать о характере женщины, ее душевном состоянии и отвечать авторскому отношению к ней.
Описывая портрет, используйте известные вам художественные средства.

**Ю. Левитанский**

**« Как показать зиму»**

...но вот зима,
и чтобы ясно было,
и чтобы ясно было,
что происходит действие зимой,
я покажу,
как женщина купила
на рынке елку
и несет домой,
и вздрагивает елочкино тело
у женщины над худеньким плечом.

Но женщина тут, впрочем,
ни при чем.
Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.

Итак,
я покажу сперва балкон,
где мы увидим елочку стоящей
как бы в преддверье
жизни предстоящей,
всю в ожиданье близких перемен.

*Затем я покажу ее в один*
*из вечеров*
*рождественской недели,*

Творческое задание.

Женщина, высокая и стройная, вся в ярко красном платье, вся взбудоражена и суетлива, с немного растерянным, но в то же время восторженным взглядом, её аккуратной вздернутой носик, как-будто пыталась что-унюхать, а аккуратно убранные волосы на европейский манер прибавляли ей сдержанности. Она быстрой походкой ходила из одной комнаты в другую, как-будто что-то искала и иногда застывала в самой немой позе посреди коридора и мило улыбалась, глядя в пол, как-будто предвкушая что-то долгождонного 2

11-10

*всю в блеске мишуры и канители,*
*как бы в полете всю,*
*и при свечах.*
И наконец,
я покажу вам двор,
где мы увидим елочку лежащей
среди метели,
медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.

Безлюдный двор
и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой,
ах, боже мой,
как время пролетело.

Что день хоть и длинней,
да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.

Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.